



## **А. И. СОЛЖЕНИЦЫН**

### **<«Севастопольское чудо»>**

Севастопольское чудо! — так уже называли в Петрограде первые успешные революционные недели Колчака. (Более успешные — мартовские, в апреле уже появились тени.) Повсюду в России пошел развал — а Севастополя как бы не касался!

Это началось с того объединенного откровенного офицерско-матросского собрания, которое толчком изобрёл Колчак, и той ликующей-дружественной мартовской ночи, когда встречали опоздавшего думского делегата Тулякова<sup>1</sup>, а он по приезде держался очень просто и искренно нес социалистическую галиматью, тут же возник первый революционный комитет во главе с бойким вольноопределяющимся Зороховичем<sup>2</sup> из крепостной дружины (потом оказалось — сыном симферопольского коммерсанта, он весьма успешно проявился и в первой севастопольской делегации в столицу). И Колчак, не без совета подполковника Верховского<sup>3</sup>, понял, что надо действовать быстрей всяких возможных захватчиков снизу: самому же первому создать матросские комитеты на судах, солдатские в командах (две трети от команд, треть от офицеров), — а из них через день состоялся и центральный военный исполнительный комитет, в полном доверии к Колчаку, — и одним из первых решений было: запретить всякую торговлю вином в Севастополе и преследовать скрытую. Вместе с Верховским выработали новые демократические правила судовой жизни, и Колчак приказом придал им силу закона. А гвоздь был: что любые решения комитетов должны утверждаться и центральным комитетом, и Колчаком, а без этого недействительны. И севастопольский Совет принял такой порядок!

Так весь переворот завершился в 3–4 дня, боеспособность флота и крепости не была нарушена ни на час, корабли тут же стали выходить в море и держать блокаду анатолийских берегов, как если б революции

не было. И севастопольский военный комитет поспешил сам заявить, что Россия может спокойно смотреть на свой южный фланг.

Не меньше умения, чем к матросам, надо было спешить проявить и к офицерам: преодолеть их каствость, косность. Требовал от них как можно больше идти в матросскую толщу, не чуждаться — и разносил офицеров крепости, что у них не хватает нервов всё время «пребывать с хамами». И вот — вражды между офицерами и матросами не легло, и по всему Севастополю взаимная честь отдавалась даже с изысканной тщательностью, и с предупредительностью к офицерам. Вот в вагоне трамвая солдат закурил и умышленно-нагло пустил дым в лицо отставному генералу, — матрос остановил трамвай звонком кондуктора: «Как смеешь, негодяй, перед заслуженным человеком? Вон из вагона!»

Несколько солдат в вагоне запротестовали, но матрос махнул в окно морскому патрулю — и солдату пришлось поспешно убегать.

На улицах города — образцовый порядок, при патрулях. И ни единый красный флаг не был поднят в Севастополе, только перевернули национальные, так что красная полоса стала верхней.

Но всего удивительнее проявились севастопольские рабочие — еще сознательней команды. Они заявили, что будут поддерживать Колчака и отказываются от 8-часового дня, а будут работать, сколько понадобится для флота. Их отдельный совет не слился с флотским, отношения с адмиралом были наилучшие, а когда в апреле среди матросов повеяло первым заразным ветерком «ликвидировать войну» — из рабочего Совета приходили в команды стыдить и успокаивать.

И как же сложилось все это чудо? Колчак верно знал, что главной тягой было его личное обаяние во флоте, он был — как флотское знамя или хоругвь. Матrosы чувствовали в нём своего прямого вождя и защитника, минуя даже всех офицеров, — и этого не возместишь никакими комитетами и комиссиями. Каждый шаг, движение и фразу перед матросами Колчак производил с уверенностью — и всегда выигрывал. Его и любили — и продолжали бояться. Сказалась и дальность флота от столицы, изолированность от центров бунта, и что Черноморский флот круглогодично бывал в боевом напряжении.

В ответ на немецкие радио и прокламации с аэроплана — Колчак обратился в середине марта к флоту и севастопольцам: «Агенты неприятеля работают изо всех сил, чтобы расстроить удивительный порядок и спокойствие у нас. Отнеситесь со спокойным презрением к этой работе врага». И, пока столичный Совет торговался об отмене присяги Временному правительству, Колчак построил на Куликовом поле под городом все флотские команды и гарнизон — и с чистой совестью читал присягу вслух сам, а десятки тысяч уже повторяли.

Адмирал и думал так: восстановление прежней династии, конечно, уже невозможно, и трудно представить, чтобы стали выбирать новую, как в Смутное время. Колчак служил не той или иной форме правления, но — родине своей.

Все комитеты были настроены патриотически. Центральным военным руководил лётчик Сафонов<sup>4</sup> (по совпадению — дорогая Колчаку фамилия), рабочим Советом — Васильев, всем Севастопольским — приехавший из ссылки бывший каторжанин Конторович<sup>5</sup> — лет сорока, с полуседой бородой, социал-демократ, а разумный. Перевел адмирал Совет из скромной приемной штаба крепости во дворец, только что построенный для командира порта, — и с его балкона Конторович взвывал сохранить беззкровную революцию в чистоте — и ему отвечали «ура».

Да вот теперь и среди других комитетчиков узнавал Колчак об одном, другом и третьем, что они — эсеры: некоторые только что вступили, а другие так и служили потаённо во флоте. Годами они бунтовали флот, а вот произносили открытые, совсем не подрывные речи (не один адмирал, и многие офицеры с сочувствием слушали), брались держать порядок во флоте. Вот как! — и в эсерах люди. Они же считали Колчака настоящим демократом и охотно соглашались с ним все распоряжения. На всех их митингах он был всегда желанный оратор. (И знал: при любом митинге поднять боевой сигнал — и все тотчас будут на местах.)

И — горячо, убедительно получалось. А ведь никогда себе не ждал политической деятельности.

И — как же долго и непотревожено могло такое отдельное севастопольское Чудо устоять?

Однако въезд в Севастополь из России открыт — и незаметно натягивались сюда какие-то темные типы, которых и эсеры считали врагами или агентами немцев. Но не было установленных средств и приёмов обуздать этих приезжих. И стали потягивать невидимые глухие течения — против военного исполнительного комитета. И подспудно потекла пропаганда, что офицеры — империалисты, обслуживают интересы буржуазии, которой только и нужны Босфор и Дарданеллы. Уже в Балаклаве кто-то говорил, что офицеров, стоявших за войну до победы, надо побросать в бухту. Раздалось одно, другое требование об удалении, перемещении того, другого офицера, иногда и с резоном. Пока удавалось разумно улаживать.

Надеясь обо всем этом ясно и твердо объясниться с начальством, Колчак к 10 апреля пошёл в Одессу, где ожидался Гучков, неизменный старый друг флота. Увы, Гучков оказался там не только перегружен революционными парадностями, меж которыми не было времени воткнуть часовой деловой беседы, но добрался до Одессы и сильно

простуженным. Повёз Колчака на заседание одесского Совета, где приветствовали «первого адмирала, примкнувшего к народному правительству». (Непенина, самого-то первого, уже не вспоминали.) И Колчак, с приобретенной теперь лёгкостью, подтвердил, что является сознательным сторонником демократического строя, а безболезненный переход к новым формам жизни вызывает веру в дальнейшее спокойное течение.

А поговорить серьезно — не вышло. Даже о таких приемах Гучкова, как телеграфное снятие начальника штаба флота Погуляева<sup>6</sup> (за то, что был офицер свиты его величества) — вопреки мнению самого Колчака. (Колчак тогда телеграфировал: мотивировка недостаточна, Гучков настаивал: у петроградского Совета есть документы против Погуляева. Чёрт возьми, у какого-то петроградского совета против черноморского адмирала! — нельзя же так им поддаваться. А пришлось снять.)

Сказал Гучкову в Одессе: очень озабочен пропагандой неизвестных приезжающих лиц, под видом свободы слова. Гучков: у вас до сих пор так хорошо получалось, надеюсь справитесь и теперь. Колчак: но все средства борьбы отняты у меня постановлениями самого же правительства.

Однако Гучков был сильно-сильно болен, плохо воспринимал. Условились, что через неделю Колчак приедет в Петроград.

Неблизок свет — на столько дней отрываться от флота, когда столькое держится на самом Колчаке. Но надо же и решать все. А тут узнал, что и Алексеев поехал на Северный фронт и, видимо, дальше в Петроград. Тем лучше, все вместе и встретимся. Газеты печатали, что Гучков уже выздоравливает и работает. Перед отъездом Колчак собирал делегатов команд — подбодрить. И в ночь на понедельник выехал из Севастополя, а сегодня в среду, 19-го, рано утром приехал в Петроград. И сразу же узнал, досада, что Гучков не вовсе выздоровел, с делами справляется замедленно, сможет принять его только во второй половине дня. А Алексеев — да, ожидается завтра утром. Ну, еще не так плохо.

Но по пути, в Орле, в петроградской газете Колчак прочёл о чудовищном распоряжении морского министра: всем во флоте снять погоны! Как можно было такое отчаянное решение принять, даже не посоветовавшись с Командующим флотом? Даже в ровное мирное время это было бы большое сотрясение (и при перемене формы всегда давался спокойный год для донашивания прежней), а сейчас, когда так неустойчиво держатся весы, — как же можно с размаху шлёпать такую гирю? И в самом беспомощном положении Колчак это встретил — в поезде. Разволновался — хоть возвращайся с пути. Но и пригонит в Севастополь уже поздно. Да и будь он на месте — ведь отменить этого нельзя, а только лучше приспособляться. Жалкая роль. И — что те-

перь в Севастополе от этого нового удара? А — в сухопутных частях флота? — даже и не сказано, не продумано.

А проехав Москву, прочел в свежей газете еще новое: что адмирал Колчак едет в Петроград, так как назначен командовать Балтийским флотом! Да что ж это делается? И — не верил, и поверил, и последнюю ночь по нервности спать не мог.

А приехал, сразу в Адмиралтейство, — и ничего подобного, утка. А приказ о снятии погонов? — его вырвал из Гучкова адмирал Максимов, отчаявшись остановить срывание офицерских погонов в Балтийском. (В министерстве в такой панике, что готовы хоть на штатское платье перейти.) Да так ли борются с опасностью? И, спасая свое, — раздергать чужое? Максимова хорошо знал Колчак по Балтийскому: неумный, морально нечистоплотный, если не сказать грязная личность. И вот, в карикатурной форме, он как бы повторил путь Колчака: с начальника минной дивизии — в Командующие флотом, но при бунте. И оказывается, сегодня он тоже ждался к Гучкову, во второй половине дня. Ещё не хватало — совместно с ним совещаться.

Избежать. Просить Гучкова хоть на час раньше. Гучков болен — и первые полдня провисали зря. Это нарушало и другие планы Колчака; он надеялся в этот приезд найти денёк промелькнуть еще и в Ревель — к Анне Васильевне (она-то и была в девичестве Сафонова, а теперь — чужая жена), — но вот никак, наверно, не выкроить. Да застал в Адмиралтействе и тщательную регистрацию прибытия-убытия всех морских офицеров (видно — оттого что тайком бегут с кораблей). И — тоже неудобно...

После дневного завтрака Колчак из Адмиралтейства перешел в домин. И Гучков принимал его — лежа в постели... Лицо обрякшее, старое, кожа с желтизною, и рукопожатие совсем слабое. Плохое начало.

Должен был Колчак докладывать о радостном состоянии своего флота? Или прежде высказать возмущение приказом о снятии погонов? Началось не с того. Слабым, медленным и мрачным голосом Гучков выразил ему, что Балтийский флот — под черными тучами, ждут повторения убийств, офицеры не находят себе места, во многом виноват адмирал Максимов, усвоивший самые скверные демагогические приёмы, — и Гучков сейчас велел ему остаться в Гельсингфорсе, а с докладом сегодня приезжал его начальник штаба и привез новые матросские требования: чтобы суда управлялись не командирами, а комитетами; чтобы все командиры были выборные; и еще другое в этом роде. И Гучков не видит другого выхода, как назначить командовать Балтийским флотом — Колчака.

Бот оно, нет дыма без огня.

И раздошлились и шатнулись чувства Колчака. Раздоились — потому что он и вырос в Балтийском, и рос вместе с ним, сгорающее

нетерпеливым возродителем. Душа Колчака ещё оставалась тут — но и как теперь оторваться от Черноморского?

Шатнулись — потому что: чем хуже в Балтийском — тем разительней, но и хрупче в Черноморском. Не мираж ли это? — может ли держаться? Если и армия не держится — то флоту ещё труднее выдержать удары революции, он — уязвимый организм, от дурного поведения одного матроса может погибнуть сразу целый корабль.

Ответил: я готов. Но боюсь, что в Балтийском ничего не изменю. А Черноморский — совсем не так благополучен, как кажется. Я не уверен, что и мой престиж сдержит. Кончится и там, как в Балтийском.

И так некстати — министр измучен, болен, а как же и не сказать? Разлагает и флоты и армию — ваша система. Ваши приказы, Александр Иваныч. Вот — и приказ о снятии погонов.

Не с такой энергией это надо было выразить! Но тот — болен. И старый покровитель флота.

Гучков — лежал.

О переназначении — еще подумает.

И в таком ли положении огорчать его тревожностями? Дезертирства у нас — ни единого случая, правда грозно умножились просьбы об увольнении в отпуск, чуть ли не массами хотят в отпуск. Боевая работа флота не прерывается ни на день. Стрельбы, тренировки, обучение команд. Миноносцы и подводные лодки несут дозорную службу. Успешно треплем турок. То налетают наши гидропланы на Босфор, то посылаем миноносец, и он захватывает шхуну. За последние недели наши лёгкие суда совершили ряд блестящих набегов на турецкое побережье. У Босфора наша подводная лодка потопила пароход с военными припасами, две груженые шхуны и одну барку. Разрушили портовые сооружения в Карасунде. «Бреслау» и не вылезает из Босфора, а «Гебен» все лечится.

А всё это к тому, и мысль та, что: надо же брать Босфор! Если раньше десант был и важен и эффектен, то теперь он даже — повелителен: успешная операция на Босфор скрепит Черноморский флот, удержит от развала и сухопутную армию. Да скажем же Алексееву: если турки будут знать, что мы неспособны наступать на Черное море, — они перебросят войска в Галицию, против него же. И нельзя откладывать решения: для операции подходят только июнь-июль. А на подготовку транспортов — ещё два месяца от получения приказа, так — немедленно, уже край!

А между тем: в марте Гучков распорядился не оборудовать транспорты под 2-ю и 3-ю десантную дивизии: они заняты перевозкой руды и угля. Но Колчак тогда же встречено телеграфировал, что для этого румыны могут дать на Черное море свою бездействующую в Килийском

рукаве Дуная речную флотилию, так выиграем транспорты на две дивизии, но румыны не хотят дать. А пока с этими шквальгами идет торговля — Колчак получил директиву Ставки: поддержать флотом операции Румынского фронта в нижнем Дунае и у Добруджи: не спривившись ни с чем на сухопутьи, они будут, видите, развивать великую операцию на Браилов. Как же можно расходовать золото по пятакам? что за бездарность, нет полёта мысли, нет цельного чувства русской славы! Для большой русской победы только одно решение: брать Константинополь! Гучков — еще усталее, с вовсе потухшими глазами:

— Александр Васильич, операция на Босфор устарела уже морально. Революционная Россия не желает завоевывать Константинополя.

— Да не завоёвывать! Но отнять же его у немцев! Для чего ж сохранился Черноморский флот??!

Всё тщетно. Гучков потерял напор.

Подносили ему, они тут вот какой ерундой занимались: переименование черноморских кораблей, невозможно оставлять императорские. В Морском министерстве выработали: «Александр III» — «Свободная Россия», «Императрица Екатерина» — «Воля». «Цесаревича» — в «Гражданина», а «Пантелеимона» — обратно в «Потёмкина», «Кагул» — в «Очакова», как был при Шмидте.

Колчак никогда, ни в тяжкие дни в Ледовитом океане, ни в трудные часы Порт-Артура, когда сам от болезни едва на ногах, не применял к себе никаких послаблений, не прощал себе ни малейшего шатка духа.

Но — и другим тоже.

И — Гучкову теперь. Он не смел так опускаться.

И — чего теперь ждать для Босфора от Алексеева? Или вот, дозволяется доложить о проекте завтра на заседании правительства. Так если Гучков оброхлился — что там с остальными?

Самый яркий шаг России в эту войну упускали бездарно — сперва при царе, потом в революцию. Все они, все они были не в темпе века — дремали в духе Девятнадцатого.

Прощай, Великая Россия!

(А то: и правда не выдержит Черноморский? Рухнет вслед за Балтийским?..)

\* \* \*

Как побитый, перемолотый брел Колчак в гостиницу «Бель-Вю» по Невскому, раскрасненному флагами вчерашней тут всеобщей манифестации. (А как прошло в Севастополе?)

И вот ведь что получалось: адмиралу флота приходилось ехать на прием не к министрам — а к социалистам, просить поддержки

у бывших гнаных революционеров, вот времена! Но необычность времени ведет и к необычности ходов. Говорят, Плеханов — самый знаменитый изо всех русских социалистов и вместе с тем разумный русский патриот, необычное сочетание! Он в Петрограде. Поехать к нему. И просить прислать в Севастополь нескольких сильных уговористых агитаторов — чтобы пересилить этих тёмных пришлых типов. А у Керенского, завтра на правительстве, попросить таких же несколько эсеров. Введем их в центральный военный комитет, спрашивимся и без Временного правительства.

Пошел до Караванной, в гостиницу. Опять пропадали вечерние часы и ночь — и не поехать в Ревель.

Или — поехать?.. Наплевать на неудобно, на слухи?.. Но завтра среди дня соберётся правительство, не успеть?

С чем считаться? Не посчитался, что сам женат, и сын шести лет. (А женился на Софье Федоровне — много оглядывался? Куда-то все страшно спешил. Был женихом перед первой экспедицией с Толлем, не успел. И женился наскоро перед Порт-Артуром и через несколько дней уехал туда. Как во сне. И вернулся — только из плена, больным.)

Не посчитался, что и Аня — замужем, и её сыну год. Не посчитался, что она на двадцать лет моложе. Не озирался, как это выглядит. Когда впивается страсть (не только к женщине — к Южному, к Северному полюсу, к Константинополю) и отливается в стрелу решения — уже не знаешь границ возможного, а всё — чтобы выполнить!

Аня Сафонова, дочь знаменитого пианиста и дирижёра, молода, хороша, весела, была хохотливый центр их морского кружка, эссеинского, когда они собирались на суше, — а на суше моряки и собираются веселиться. (В штабе же Эссена вместе с Колчаком служил и муж ее, Тимирёв, ее троюродный брат.) Летом 15-го жили на смежных дачах на острове под Гельсингфорсом. (Когда подходил к Гельсингфорсу и знал, что увидит её, — он казался лучшим городом в мире...) За ней — все офицеры ухаживали, и тогда ещё поведение Колчака не давало повода думать, что он захвачен глубже. Но всегда не могли наговориться, сидя рядом. «Будет ли ещё так хорошо, как сегодня? Хотя бы не расходиться». А один раз вечером — Гельсингфорс затемнялся, освещался синими лампочками — встретились в дождь на улице, постояли две минуты, разошлись, — но что-то особенное произошло, почувствовал он, хотя не знал что. (Она потом: «вдруг подумала: а вот с этим — я бы ничего не боялась; и какие же глупости в голову придут».) А вот — она уже выговаривала ему, что он однажды ухаживал за другой. А вот на вечере в собрании, все дамы были в русских костюмах, он попросил ее сняться, подарить ему карточку — и повесил у себя в каюте (она знала), и только ее одну — ни жены, и ни единого адмирала.

А в прошлом июле назначение на Черноморский флот застало его в Ревеле — и были сроки малы и сдача минной дивизии, не мог и переехать через залив, — так внезапно приехала в Ревель она (узнала)! И три вечера — с вечера до утра — они встречались. В парке Катриненталя, при летнем Морском собрании, гуляли по аллеям, сидели за столом, и никак не могли наговориться. В первый вечер он просил разрешения писать ей. Она разрешила. Он уезжал на юг совсем, война, казалось — уже не встретятся. И во второй вечер она сама первая сказала, что любит его. Он ответил, изменясь: «Я не сказал вам, что люблю вас». — Она: «Но это я говорю. Я — всегда хочу вас видеть. Я всегда о вас думаю. И вот выходит, что я вас — люблю». И он: «А я вас — больше чем люблю». И — снова по каштановым аллеям Катриненталя, под руку. И снова возвращаясь к залу собрания, где люди. (Ее муж — в плаванье, а Софья Федоровна в Гельсингфорсе.) И — горько. И — сладко. И — ничего больше.

И в первые же дни из Севастополя послал нарочным матроса-великаны с тонким письмом к Софье Федоровне, с толстым пакетом к Ане. (А все сидели на ступеньках одной террасы и получили рядом.) Таких писем он никогда не писал, неделю подряд — и в Ставке у Государя, и в поезде, и в море, когда сразу же погнался за «Бреслау». Писал ей и о задачах своих, и что нашел во флоте, и как мечтает ее увидеть. И потом — почтовые письма обеим, и оказией через Морской штаб, и всегда — одно тонкое и одно толстое. И отвечала Аня, что живет от письма до письма, как во сне, и не думая ни о чем больше.

Осенью Софья Федоровна с сыном Ростиславом<sup>7</sup> переехала в Севастополь. А мужа Анны Васильевны перевели в Ревель, и теперь они там.

Ко дню именин ее в феврале он заказал ей в Ревеле по телеграфу корзину ландышей.

И сама Аня — как эти ландыши. Эта нежная ее воздушность, ее колокольчатый смех — вытягивали нити из сердца.

И — страх, и — страсть: разломать сразу две семьи. Двух сыновей лишить отцов (ибо каждый должен остаться при матери). Лишиться Славушки, а принять ее сына.

И — не казалось невозможным!

И — даже на волнах революции.

И для этого — броситься в Ревель сейчас! Но — его ждал Черноморский флот. На шатком перевесе. Где день без Командующего может стать катастрофой. А завтра утром приедет Алексеев. Еще один бой за Константинополь.

А может быть, увидев этих эфемерных министров, соединенных в заседании, — можно убедить их соединенно? Босфорская стрела, уже отлитая, торчала из груди.

<...>

Вот и четвертые сутки, как Колчак вернулся в Севастополь. Прокочил поезд последние тоннели в Инкерманских скалах, вышел к Северной бухте. Бритвенные носы миноносцев подымались из воды, под солнцем недвижно высились броненосцы и дредноуты, для опытного глаза — чуть мрея струями из труб, готовые сразу развести пары по тревоге и идти в море; мелькали шлюпки по бухте — флот стоял спокойно, как всегда, устье рейда защищено панцирными цепями на всю глубину. Но — что с флотом на самом деле?

Помчался на «Георгий», ждал докладов и от командиров, и от Военного комитета, от Совета, — а первое, что ему доложили: сейчас секретно собирается морская экспедиция на Южный берег Крыма, обыскивать дачи великих князей — Чайир Николая Николаевича, Дюльбер Петра Николаевича, Ай-Тодор Александра Михайловича и Марии Фёдоровны, и еще другие. Что такое? А газеты уже давно возбуждали, почему великие князья живут свободно в Крыму? ездят в автомобилях; говорят, есть у них секретные комнаты, секретный радиотелеграф, с кем-то тайно сносятся, по ночам заседают, готовят контрреволюцию, собирают оружие, Николай Николаевич стягивает сюда офицеров с фронта. Так вот: окружить дачи ночью, отсединить телефоны, нагрянуть к рассвету!

Да на первый же взгляд это был полный вздор, но уже получили, шифрованно, от Временного правительства разрешение на обыск и даже на аресты. Вот уже собрано 500 матросов и солдат, следственная комиссия, несколько вожаков Совета, все возбуждены охотничьей тряской. А во главе всех подполковник Верховский — и умный же человек, а вот, не смеясь, высказывает, как это необходимо и тревожно. (Есть, есть в нем отметный гражданский отпечаток. В речах объявляет себя исконным революционером, борцом за свободу, гордится, что когда-то был разжалован в солдаты, проклинает «старый режим». Но — искал стать начальником десантной дивизии, Колчак, однако, не утвердил.)

Ну что ж теперь Колчаку, не отменять волю Петрограда, езжайте. (Подумал о Николае Николаевиче: вспомнит ли он колчаковское предложение в мартовские дни? Пожалеет...)

Но — с флотом? Восемь дней не было адмирала — а сколько тут!

Утекало. Движение в отпуска стало стихийным — отпускали ведь комитеты, и командиры не могут остановить. Хоть целые корабли теперь выводят из строя, некому их вести. Растут и требования комитетов. На «Жарком» голоса — списать лейтенанта Веселаго<sup>8</sup>: по их мнению, он слишком рискует миноносцем! — а значит, и их жизнями (даром что и своею). В Черноморской дивизии солдаты стали отказываться выходить на занятия, не отдают чести, расхлябаненный вид. Матrosы все еще чисты и аккуратны, но уже лускают семячки, свободно бро-

дят на священную кормовую часть покурить и в шлюпки спускаются по офицерскому трапу. На корабле матросы до обеда, потом исчезают до утра. Тронулись и рабочие: давай 8-часовой день, разделить казенные суммы, запасы провизии. А в Николаеве на доках совсем не идет работа, не ремонтируют, и постройка новых судов замерла. Члены Военного комитета ездят по судам, по частям уговаривать, но их слушают хуже, а уже громче раздаются большевицкие голоса — и против войны, и вспоминают обиды Пятого года. А по городу — участилисьочные кражи.

Нет, видно, вся эта «революционная дисциплина» — бред. Военная дисциплина — одна единственная во всех армиях и флотах мира.

Или — еще схватиться раз?..

В отдельности, в неподвижности — севастопольскому чуду не существовать. Но если попробовать — дохнуть им на всю Россию?

Если Временное правительство слабо — то и помочь ему!

Ведь два месяца мы пробыли так! — значит, все-таки возможно? Сколько еще сохраняется твердых связей — как не опереться на них? Сколько еще трезвых голов — как не возвратить к ним? Какая бы ни кралась разлагающая пропаганда, но не может быть, чтобы соотечественники не могли понять друг друга перед лицом такой грандиозной войны! — ведь мы тогда все погибли! Почему водительство матросских масс отдать каким-то приблудным агитаторам?

А что отличный оратор — Колчак про себя уже знал.

И в согласии с вожаками Совета и Военного комитета — в цирке Труцци, самом большом помещении Севастополя, — созвали делегатский съезд флота, гарнизона и рабочих — несколько тысяч.

В ложе оркестра — президиум Совета. Конторович с колокольчиком: «Слово предоставляется Командующему адмиралу Колчаку».

Неподвижная, нависшая тишина.

Встал Колчак, опираясь на барьер своей ложи, — загрохотали отчаянные аплодисменты, и долго, долго не давали ему начать. (Да уверен он был в себе! Да ни один голос в Севастополе еще не бросил упрёка адмиралу!)

И он стал говорить им — самые тяжелые слова. О Балтийском флоте: забыл, что идет война, предает родину. Да просто — не стало Балтийского флота. Гибнет, разваливается и сухопутный фронт, и неизвестно, удастся ли его восстановить. Его можно сейчас прорвать в любом месте. И — каков размах дезертирства. (Из зала крики: «Шкурники! Подлецы!») И — что такое были апрельские дни в Петрограде, виденные его глазами. Движение «прекратить войну во что бы то ни стало» — обратит нас в навоз для Германии. И союзники, они сейчас оттягивают немцев на себя, — не простят нам. Придется расплачиваться землей, природными богатствами, нас разделят на куски. И — о своей

встрече с Плехановым, который шлет Черноморскому флоту призыв к единению.

Вся надежда России — на Черноморский флот. Ныне — во всей России только Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в революцию и преданность родине. Черноморский флот должен спасти родину! (Среди матросов — рыдания.) И — о проливах (повторил плехановское сравнение с горлом, зажатым чужими руками). Веками Россия нуждалась в этих проливах. Если не занять их, то мы должны иметь их свободными для себя и быть уверены, что никакой вражеский флот не пройдет в Черное море, никакая пушка не будет обстреливать наших берегов.

Аплодисменты и крики после речи — еще оглушительней. Зал стал — един и наэлектризован. И в этом порыве — стали выступать с арены простые матросы. Да, мы все заодно, и с офицерами, и будем так. Да, не разрешим развалить нашу дисциплину! Крик вашей души, товарищ адмирал, найдет отклик в миллионах душ свободных граждан! Никакие тёмные силы не подорвут доверия к вам! Долг нашего флота — выделить тех, кто поедет увлечь и Россию, и фронт!

Ярко выступал жердястый, худой, черный экзальтированный матрос Баткин<sup>9</sup>: «Да, война затеяна правящими классами, но мы теперь не можем выскочить из нее. Кто требует сепаратного мира — изменник родине и свободе!» (Матросская форма не совсем складно сидела на нем, оказался — студент, караим.)

И на слух, что Ленин хочет ехать сюда, — проголосовал зал: приезд Ленина на Черноморское побережье нежелателен.

Колчака вынесли на руках до автомобиля.

Он смотрел на головы в матросских шапочках: нет, не может быть, чтоб мы так поддались и погибли!

В тот же день команда «Георгия Победоносца» возгласила резолюцию полной поддержки адмиралу: «Через несколько недель может наступить катастрофа. Отбросить все личные счеты, сплотиться. Прекратить вредную деятельность лиц, проповедующих сепаратный мир. Слать наших представителей в Петроград, Балтийский флот и на фронт. Телеграмму правительству и в петроградский Совет: обуздать лиц, подобных Ленину».

На другой день резолюцию напечатали в газетах, обсуждали на всех судах, и везде поддерживали, и уже выбирали делегатов на фронты, четверть тысячи человек, — офицеров, кондукторов, матросов, солдат и рабочих: повсюду требовать твердой власти и звать к наступлению. Многие сами отказывались от уже разрешенных им отпусков. «Теперь нужна только одна партия: партия спасения России!» К возвзванию «Георгия» присоединился весь флот. Пресловутый крейсер «Очаков»

телеграфировал правительству: «Нам необходим свободный выход из Черного моря».

Ещё через день стали приходить Колчаку и «Георгию» телеграммы поддержки из других городов.

И вот — делегация, особым поездом, уехала.

Колчак и спешил ее отправить, пока ничего не треснуло и не остыло. И понимал: самые лучшие, убежденные, крепкие — уезжают. Севастополь остается слабее, чем был. А подрывные силы — каждый день невидимо притекали. И вот голоса звучали не во спасение родины, а: как хоронить революционные жертвы. Корабли приспускали флаги — и под оркестры перехоранивались останки расстрелянных с линкора «Златоуст» в 1912, и неизвестные ораторы на траурном митинге брали адмиралов бессмертной Севастопольской обороны, покоящихся в подвалах Владимирского собора, близ штаба крепости: что надо эту падаль вырыть из могил, бросить в море, а на их место положить борцов за свободу.

И не единицы, но уже десятки матросов бесновато бродили вокруг собора, с ненавистью заглядывая в подвальные окна.

Вот так — мгновенно шаталось матросское настроение.

Чтоб это заглушить — еще более торжественные похороны приходилось готовить для священного праха лейтенанта Шмидта и троих с ним расстрелянных на Березани. На крейсере повезут гробы сперва в Одессу, там с оркестрами будут носить по всему городу, снова на крейсер, и в Севастополь. Тут будет выстроен весь гарнизон, пушечные салюты с крепостных батарей (в прошлом году приезжал в Севастополь царь — салютов не было). От Графской пристани на Нахимовскую площадь офицеры и матросы понесут гробы на руках, тут их поставят в катафалки, запряжённые четвериками. И Колчак пойдет за гробом Шмидта рядом с его сыном, и еще потом сотня депутатий будет нести посеребренные, и фарфоровые, и живые венки. Революция любит спектакли. И поднимать идолов<sup>10</sup>.

